

Рубцов: между двумя датами

Странные закономерности обнаруживаешь, размышляя о музыке в поэзии Рубцова. Не будем говорить сейчас о музыкальности её: факт неоспоримый и очевидный. Но...

Во-первых, при всём множестве касания к сфере музыки она изымается душой поэта из прошлого прежде всего! Она связана с воспоминаниями, обращена к лучшему в них:

— давно ли гармонь оглашала окрестность...

— не слышать говорливой гармошки...

— замолкли весёлые трубы...

— плач радиолы я вспомню...

Во-вторых, если мелодия, звуки мыслятся как настоящие, сейчас, то и они развёрнуты к истории, прошедшему:

— как будто вновь поёт на поле жница...

— звон скорбный, гневный, державный...

— поёт она таинственные мифы (о реке Катунь)

В-третьих (и это третья одна из волнующих составляющих музыки Рубцова), поэт, как А. Блок, «ухо приложил к земле». Его душа резонансно рождает «звуки, которых не слышит никто». Музыка воображаемая, чудящаяся звучит в нём самом, питаясь радостными и горькими воспоминаниями, сельскими холмами, лесами, болотами и омутами, порой «осеннего распада», «снегом освещённым»... Это согласное его душе хоровое пение самой России — так кажется мне без всякого преувеличения. Поэт «вслушивается в звуки». Ловит реликтовые излучения музыки Родины, Руси, России. Слышит их; и он сам себе режиссёр и оркестр, он сам руководит светлым и печальным детским хором в сосновом бору. Это внутренние вибрации. Они не могут оформиться в нечто устойчиво-музыкальное, они — как стоны и плачи — «отражают душу России». Поэтому так хороши и уместны здесь хоры и звоны как что-то всеобщее, соборное, притягательное, пронзительное, но не различимое в отдельных звуках...

Хоры-призраки, печальные русские «лакримозы», выдуваемые из пространств, где «много серой воды, много серого неба...»

Внешне, по атрибутике музыкальной, поэзия Рубцова, как и её метафорика, сильно проветрена от всего изысканного. Никакого фетовского рояля. Музыка от сохи — пение да гармонь — слышна прежде всего со страниц его сборников. Но не матерешечному, не лубочному внимаем мы. Чувственная, смысловая оркестровка рубцовских стихотворений аранжирована всякий раз по-новому. Память о «говорливой гармошке» оттеняет, углубляет, глухоту ночи, «певучие бутончики» — безлюдство северных дорог, пространств, песня «про горькую рябину» — одиночество среди людей, «одинокое пенье» — семейную драму... А из других стихотворений прольётся на нас волшебное «детское пенье в багрянном лесу», обогреть теплом «певучий самовар», почудится «пение детского хора», гармонь, книги, огонь в печи согреют одиночество, ведьмы «чаруют, кружа, своим пением», «песней сладкою»... Иногда волшебство рубцовской простоты напоминает мне русскую лаковую миниатюру, в которой есть для меня что-то бесконечно красивое и глубокое, тоска по идеальному, детская чистота.

К излюбленному пению у Рубцова примыкает плач. Он даже соседствует с песней. Его девочка из «Осенних этюдов» роняет печальное: «Я не пою, я плачу». А

что соединяется в стихе «плач раздавался колыбельный»? И песня из радиолы слышится плачем... Близкими фольклорному плачу мерещатся мне его слёзы героини в «Полночном пении»...

Соборное и в излюбленных поэтом «звонах»: звенит зной, звенит трава звенит, и листва, и бубенцы, и колокола, и поэзия, и гармошка, и колокольчики, и... рождается по мотивам картины Левитана «Вечерний звон»:

В глаза бревенчатым лачугам

Глядит алеющая мгла,

Над колокольчиковым лугом

Собор звонит в колокола!

Звон заокольный и окольный,

У окон, около колонн, —

Я слышу звон и колокольный,

И колокольчиковый звон.

И колокольцем каждым в душу

До новых радостей и сил

Твои луга звонят не глуше

Колоколов твоей Руси...

Написал, и зазвучали «Перезвоны» Валерия Гаврилина и «Русский триптих» Ге-



оргия Свиридова. Как же близки они самой душе поэзии Николая Рубцова! А может, подумал я, и не нужно гения музыки новоявленного к его поэзии? Может, мощный перепев современников и отражает их «смертную связь»? Одно время, одна музыка, которую не слышал никто, кроме них, объединяла этих титанов, знавших творчество друг друга.

От стынущего сердца до святой поэзии

Врачевание души опирается в поэзии Н. Рубцова на два столпа: единение с природой и на переживание древности, святости родной земли, её скрытой от внешнего зрения истории, прозревание её. Кто-то добавит к ним обращение поэта к детству, но это, скорее всего, не врачевание, а переживание утраты лучшего в себе: «Славное время! Души моей лучшие годы». Вечная обетованная земля нашего прошлого...

Общение с людьми, эти странные тайные вечера Рубцова, как правило, не приносят облегчения страдающей душе, а лишь заостряют, подчёркивают летучесть праздника: «Повеселились с грустными глазами...» или «...Каким-то грустным таинством на свете // У тёмных волн, в фанарном тусклом свете // Пройдёт прощанье наше у реки».

Даже находясь с делегациями поэтов на

Вологодчине, Рубцов стремится к единению в созерцании красоты природы и исторических памятников (можно проследить на фотографиях и редких видео).

«Живую душу» выражали стихии ветра и осени, безлюдные дороги и «тайны древнейших строений и плит». Они возбуждали волнение души, они же и врачевали до состояния успокоения, благодати, «светлого покоя». Воистину Рубцов был очарованным странником родной земли! Стихия и дорога истязают, мучат, но и — врачуют («Как облегчает, как мучит он!» — о ветре). И врачующими оказываются не обязательно «светлыми покой небес», «сельская каморка», Феропонтово, но и порой вещи странные:

Ночевая! Глухим покоем

Сумрак душу врачует мне.

Мы поражаемся иногда, каким аскетизмом обстановки лечится душа поэта! Это, конечно, зыбкий опыт человека дороги, пути. Странника. Пилигрима. Аскетизм, вырастающий едва ли не до света, заражающий и нас скудным немногим, что под рукой, что перед глазами, — этот аске-

думаю, догадалась бы, что это он. Стоял на крыльце такой бесприютный, а в спине ему снег-то так и вьёт, так и вьёт. Ну, скорей в избу. Пальтишко-то, смотрю, продувное, расстроился, конечно, что не застал тебя. А я и говорю ему: «Так и ты, Коля, мне как сын. Вот, надень-ко, с печи катанчики да к самовару садись».

Глянула сбоку, а в глазах-то у него скорби. И признался, что матушка его давно умерла, что он уже привык скитаться по свету... И такая жалость накатила на меня, что присела на скамью, а привстать не могу. Ведь и я в сиротстве росла да во вдовстве бедствую. Как его не понять!.. А он стеснительно так подвинулся по лавке в красный угол, под иконы, обогрелся чаем да едой и стал сказывать мне стихотворения.

Про детство своё, когда они ребячьими малыши осиротели и ехали по Сухоне в приют. Про старушку, у которой ночевал. Вот поди-ка как у меня. Про молчаливого пастушка, про журавлей и про церкви наши Христовые, поруганные бедами... Я вспугнуть-то его боюсь: так добро его, сердечного, слушать, а у самой в глазах слёзы, а поверх слёз — Богородица в сиянье венца. Это обручальная моя икона... А Коля троеперстием своим так и взмахивает над столом, будто крестит стихотворения... Теперь уж не забыть его...

Перед сном все карточки на стене пересмотрел да и говорит: «Родство-то у вас какое большое!» Будто бы позавидовал.

«Да, — говорю, — родство было большое, да не ко времени. Извелось оно да разъехалося». «Везде беда», — только и услышала в ответ.

Поутру он встал. Присел к печному огню да попил чаю и заторопился в Воробьёво на автобус. Уж как просила подожать горячих пирогов, а он приобнял меня, поблагодарил и пошёл в сумерки. Глянула в окошко — а он уже в белом поле покатывается. Божий человек...»

Это покачивание в белом поле, среди распутицы, грязи, дождей, мороза, одиночества принесло русской поэзии десятки потрясающих стихотворений, где душа человеческая скорбит, плачет и радуется великому малому, что возвышает её.

Короткий день.

А вечер долгий.

И непременно перед сном

Весь ужас ночи за окном

Встают. Кладищенские елки

Скрипят. Окно покрыто льдом.

Порой без мысли и без воли

Смотрю в оттаявший глазок

И вдруг очнусь — как дико в поле!

Как лес и грозен и высок!

Зачем же, как сторожевые,

На эти грозные леса

В упор глядят глаза живые,

Мои полночные глаза?

Зачем? Не знаю. Сердце стынет

В такую ночь. Но все равно

Мне хорошо в моей пустыне,

Не страшно мне, когда темно.

Я не один во всей вселенной.

Со мною книги, и гармонь,

И друг поэзии нетленной —

В печи березовый огонь...

Вот он — путь от стынущего сердца до святой поэзии!

Николай ВАСИЛЬЕВ

«ЗОЛОТИНКА В ЦАРСКОЙ ВОДКЕ...»

В школе дети мои писали пробный экзамен в 9 классе по русскому языку. Задумывались. Глядели мимо меня. Я так люблю в эти минуты их лица — в себе, в первых попытках осмыслить призвание человека (такая была тема письменной части работы). Передо мной было открыто стихотворение Рубцова «Ночь на родине». Я, конечно, намертво помню его наизусть, но... люблю живые, открытые страницы «Подорожников». А из головы одновременно не выходила строчка Михаила Анищенко, сравнивающего Рубцова, его бытование с «золотинкой в царской водке». И никак золотинка строчки этой

не растворялась во мне, не вытравливалась. Я распахнул шторы на окне. Солнце тусклой медовой каплей висело над самым лесом. Подвижные, трепещущие свистели обсыпали снежный куст жимолости. Воздух был свеж, светел, дрожал искрами. И во мне уютно сосуществовали и рубцовская «светлая печаль» и анищенская «золотинка в царской водке». И золотая песчинка эта оказалась мне в эти долгие и счастливые минуты не растворимой никакими кислотами, а в невыносимой горечи раствора царской водки, в «плени бездомья рокового», в «бездне тьмы» светились рубцовские пылинки

«светлой печали», невыводимые, родимые пятна его поэзии — среди «осеннего распада», потрясений и бед.

Высокий дуб. Глубокая вода.

Спокойные кругом ложатся тени.

И тихо так, как будто никогда

Природа здесь

не знала потрясений!

И тихо так, как будто никогда

Здесь крыши сел

не слышали грома!

Не встрепенется ветер у пруда,

И на дворе не зашуршит солома,

И редок сонный коростеля крик...

Вернулся я, — былое не вернется!

Ну что же?

Пусть хоть это останется

Продлится пусть хотя бы этот миг.

Когда души не трогает беда,

И так спокойно двигаются тени,

И тихо так, как будто никогда

Уже не будет в жизни потрясений,

И всей душой, которую не жаль

Всю потопить

в таинственном и милом

Овладевает светлая печаль,

Как лунный свет

овладевает миром.

Николай ВАСИЛЬЕВ